

ГЛОБУС

Маленький школьный глобус поставили на книжный шкаф и забыли о его существовании. Шли годы, и на глобус все больше и больше оседала пыль, — она завалила весь земной шар как еще один вид атмосферных осадков, сквозь которые с трудом проступали его голубая и коричневая окраски: по Нилу и Амазонке текли теперь мутные, грязные воды, над Кордильерами и Кавказом постоянно висели серые туманы. Волга почти совсем пересохла, а на равнинные, плодородные прежде земли всюду наступали пески. То, что раньше было параллелями и меридианами, теперь напоминало морщины — старческие морщины вдоль и поперек лица, которое многое повидало, совершив не одно кругосветное путешествие.

Книжный шкаф стоял у высокого окна, настолько высокого, что оно доходило до самого Северного полюса — до Северного полюса маленького глобуса, забытого на книжном шкафу. Только окно и скрашивало существование глобуса: в него была видна широкая городская улица, на которую падали снега и дожди и по которой, сменяя друг друга, уходили и возвращались времена года. Весной вдоль тротуаров рядами стояли зеленые и большеголовые, одинаково подстриженные, как суворовцы, тополя; летом улицу заливало солнце, которое прерывали только короткие ночи и короткие дожди; осень, добрая и чуть грустная, была похожа на лоточницу на углу, продающую фрукты, а зиму, словно опасный перекресток, люди торопились пересечь

чуть ли не бегом. Глобус, этот маленький макет Земли, старался во всем подражать планете: когда по комнате ходили и книжный шкаф вздрагивал от шагов мелкой дрожью, глобус медленно вращался вокруг своей оси, стараясь быть верным хотя бы во временах года — летом в окно выглядывала Африка, знойный полдень Земли, а весной — Южная Америка. Он вращался очень медленно и осторожно, словно боясь, как бы на книжный шкаф не вытекла какая-нибудь небольшая река Европы или не сорвался и не утонул в Тихом океане какой-нибудь одинокий остров. Глобус не имел права потерять ни одной капли воды и ни одной частицы земли, он был крохотным шариком, сотворенным по образу и подобию планеты, шариком, на котором должна быть видна каждая родинка.

Шли годы, а он все стоял и стоял на книжном шкафу и, словно в зеркало с тысячекратным уменьшением, смотрел в окно. Казалось, он видел самого себя — все было то же самое, только в других измерениях. Прошлое, стекая вниз, образовало подставку, на которой глобус обрел устойчивость, а будущее застыло внутри — как неоткрытое, загадочное вещество. Со временем подставка становилась все больше и больше, а глобус, будто шар, из которого неслышно выходит воздух, постепенно сжимался. Всякая жизнь — это песочные часы, которых перед нами нет: прожитое стекает вниз, будущее остается наверху, а то, что проходит через узенькое горлышко между двумя колбами, — это и есть настоящее — вот оно уже упало, повинувшись закону земного притяжения. Узенькое-узенькое горлышко, способное пропускать лишь песчинки, но это горлышко песочных часов, и песчинки падают, падают, а мы по своим ходикам и будильникам определяем только время суток — время обеда, время сна, время работы.

Хозяин комнаты, тот самый человек, который когда-то мальчишкой учил по глобусу географию, заводил будильник всегда на одно и то же время, чтобы перед работой успеть послушать утренние последние известия. Он включал радиоприемник, искал нужную ему волну, и в комнате, как

в центре земного шара, раздавались голоса из самых разных стран и с разных континентов. Диктор называл страны — казалось, что это не диктор, а сама планета Земля объясняет маленькому глобусу, стоящему на книжном шкафу, что случилось на ее территории, что случилось на его территории за последние сутки. Человек ходил по комнате, из радиоприемника звучали голоса, и глобус вздрагивал от шагов и голосов — от тревожных шагов и тревожных голосов. Потом человек уходил на работу, а глобус, опершись на подставку, застывал перед окном: солнце поднималось и опускалось, дни, как спички, вспыхивали и гасли, и люди торопились туда и обратно: человеку всегда приходится возвращаться — домой, на работу, к исходным рубежам, к своей нулевой отметке.

Человек возвращался, снова включал радиоприемник и слушал вечерние известия. Земля, как роженица, страдала от боли и мечтала о счастье, и все это доносилось сюда, в небольшую комнату, по которой тревожными шагами ходил человек и где на книжном шкафу стоял маленький глобус.

Но однажды человек стал искать на книжном шкафу какую-то книгу и увидел глобус.

— Мой глобус! — радостно и удивленно воскликнул он. — Мой маленький глобус! Как же это я о тебе забыл!

Он сходил за тряпкой, стер с глобуса пыль, и земной шар сразу ожил и засиял всеми своими красками. Реки, как кровеносные сосуды, снова потекли в самые разные концы планеты, над Тихим океаном взошло солнце, на северных и южных, западных и восточных полях зазеленели всходы. Глобус приподнялся над подставкой, как над ненужным постаментом, и легонько качнулся, словно собираясь взлететь и продолжать движение по своей орбите, — казалось, он торопится снова в дорогу, чтобы не опоздать и ровно за 24 часа сделать полный оборот вокруг своей оси.

— Мой маленький глобус! — повторял человек. — Моя маленькая Земля! До чего же ты, оказывается, красивая!

Он держал перед собой глобус и улыбался, он казался себе первооткрывателем этой удивительной планеты, о которой до сих пор никто не знал. Но вдруг, спохватившись, человек взглянул на часы и включил радиоприемник. Комната наполнилась голосами, и эти голоса вернули человека к действительности. По всему миру проходили митинги против войны, которую одна большая страна вела в другой маленькой стране, а война все продолжалась и продолжалась. Диктор называл страны, и человек искал их на глобусе, в Америке и Азии, в Африке и Европе — он находил их и останавливал перед собой, словно вызывал для отчета. Потом диктор умолк, и человек, нажав на кнопку выключателя, снова пустил Землю по ее извечной орбите и остался наедине с глобусом. Это был географический глобус — мирный и красивый: с коричневыми Кордильерами, с голубыми волнами Тихого океана, с зелеными африканскими джунглями, и все на нем было к месту, все казалось близким и родным, как свое собственное.

— Да, — задумчиво сказал человек. — Плохо. Плохо мы живем.

Он придвинул к себе глобус и продолжал:

— Плохо мы живем, моя маленькая Земля. Что же нам сделать, чтобы все было хорошо? Ведь так нельзя. Может быть, выселить всех и начать все сначала?

Человек усмехнулся и поднялся. Был поздний вечер, за окном начиналась беспредельная вселенская темнота. Человек наклонился над глобусом, с силой крутнул его, словно сбрасывая с поверхности маленького земного шара всех его обитателей, затем принес мел и, торопясь, забелил глобус — весь, до последней точки.

Земля опустела и покрылась льдом, наступил ледниковый период. Холодная и безликая, она беспомощно застыла на одном месте, не в силах вырваться из тяжелого белого савана.

Человек сходил на кухню, принес влажную тряпку и взял глобус в руки. Сначала он очистил ото льда Евро-

пу, словно разбудил спящую красавицу, заснувшую 33 года назад, — она протерла глаза и удивленно огляделась, пытаясь понять, где она и что с ней случилось. Рядом никого не было. Европа могла испугаться своего одиночества, и человек, заторопившись, стал очищать Азию, сгоняя льды в Северный Ледовитый океан. Затем подошла очередь Африки и Австралии, на которых снова зазеленели джунгли и над которыми снова забили весенние грозы.

Следующей была Антарктида. Тряпка, которой человек стирал мел, к этому времени высохла и стала белой, убрать ею вековые льды самого холодного континента оказалось невозможно. Человек решил их оставить — как белый лист бумаги, заполнять который предстояло жителям Земли.

Перед тем как дать миру Америку, человек старательно вымыл тряпку. Наступил волнующий момент открытия, быть может, самой богатой и самой красивой части света. Сначала человек очистил ото льда Южную, затем Северную Америку. С запада и с востока в нее забили волны двух океанов, испытывая ее на прочность. Где-то далеко-далеко в Европе уже снаряжались корабли мореплавателей для открытия нового материка.

Теперь Земля была полностью свободна. В ее облике ничего не изменилось — те же части света, что и раньше, те же моря и океаны, реки и горы, но все это получило уже другое назначение: служить только достойным представителям человеческого рода.

— И чтобы никаких исключений, никаких помилований, — как заклинание повторял человек, склонившись над глобусом.

Он останавливал перед собой каждую из шести частей света и давал последние напутствия. Когда все было готово, человек, торжественный и счастливый, поставил глобус на крышку радиоприемника, и Земля, качнувшись, вышла на орбиту. Она бережно несла на себе Америку и Европу, Азию и Африку, по очереди подставляя их к солнцу, чтобы

восходы и закаты сходились над самой землей, осторожно перебирая ее в своих теплых руках.

Человек по-прежнему заводил будильник на одно и то же время — перед утренними известиями. Он включал радиоприемник, брал в руки глобус и слушал тревожные голоса, доносившиеся с разных концов земного шара. Он слушал их и смотрел на глобус, на свою маленькую Землю, тихую и счастливую.

Потом человек ставил глобус на крышку радиоприемника и уходил на работу. Крышка была покатою и полированной, а по улице, заставляя дом вздрагивать, беспрестанно шли тяжелые машины. К вечеру глобус перемещался к самому краю крышки, и Африка, Австралия и Южная Америка со страхом заглядывали вниз, но приходил человек, включал радиоприемник и брал глобус в руки.

Но однажды человек где-то задержался, а глобус снова скатился к самому краю крышки. Африка, Австралия и Южная Америка, преодолевая земное притяжение, казалось, приподнялись над поверхностью глобуса, подавая сигналы бедствия. Их слышала вся планета, но глобус уже не мог остановиться. Накренившись, словно терпящий бедствие корабль, он еще пытался задержаться, хватаясь за острую кромку крышки, но снова зазвенели стекла, и под этот звон глобус упал. Северное полушарие отделилось от южного и укатилось в угол.

Падая, глобус задел кнопку выключателя, и радиоприемник заговорил. Это были вечерние последние известия.

Земля продолжала вращаться, но уже без маленького глобуса.

<1965>

МАМА КУДА-ТО УШЛА

Мальчишка открыл глаза и увидел ползущую по потолку муху. Он поморгал, глядя на нее, и стал смотреть, куда она ползет. Муха двигалась в ту сторону, где было окно. Она бежала, не останавливаясь, и получалось это у нее очень быстро. Мальчишка решил, что она бежит по дороге, и стал ждать, не поползет ли за ней еще одна, чтобы удостовериться, действительно ли это дорога. Но больше мух не было. Они, правда, были, но по потолку почему-то не бегали, и мальчишка быстро потерял к ним интерес. Он приподнялся на кровати и крикнул:

— Мама, я проснулся!

Никто ему не ответил.

— Мама! — позвал он. — Я молодец, я проснулся.

Тишина.

Мальчишка подождал, но тишина не прошла. Тогда он спрыгнул с кровати и босиком побежал в большую комнату. Она была пуста. Он посмотрел по очереди на кресло, на стол, на книжные полки, но возле них никого не было. Они стояли просто так, занимая место. Мальчишка бросился на кухню, потом в ванную — они были одни.

— Мама! — крикнул мальчишка.

Тишина вобрала в себя его крик и сразу сомкнулась. Мальчишка, не поверив ей, снова бросился в свою комнату, оставляя от босых пяток и пальцев на крашеном полу замысловатые кругляшки, которые, остывая, растворялись и исчезали.

— Мама, — как можно спокойнее сказал мальчишка, — я проснулся, а тебя нету.

Молчание.

— Тебя нету, да? — спросил он.

Его лицо напряглось в ожидании ответа, он поворачивал его во все стороны, но ответ не пришел, и мальчишка заплакал. Плача, он подошел к двери и стал ее дергать. Дверь не поддавалась. Тогда он ударил ее ладонью, потом ткнул босой ногой, зашиб ногу и заплакал еще громче. Он стоял посреди комнаты, и крупные теплые слезы выкатывались из его глаз и падали на крашенный пол. Потом, не переставая плакать, он сел. Все вокруг прислушивалось к нему и все молчало. Он ждал, что вот-вот за его спиной послышатся шаги, но их все не было, и он никак не мог успокоиться.

Это продолжалось долго, а сколько, он не знал. В конце концов он лег на пол и стал плакать лежа. Он так устал, что перестал чувствовать себя, и уже не понимал, что плачет. Этот плач был так же естественен, как дыхание, и уже не подчинялся ему. Наоборот, он был сильнее его.

И вдруг мальчишке показалось, что в комнате кто-то есть. Он быстро вскочил на ноги и стал осматриваться. Ощущение, заставившее его подняться, не проходило, и мальчишка побежал в другую комнату, потом в кухню и ванную. Там никто не появился. Всхлипывая, мальчишка вернулся и закрыл ладонями глаза. Потом он убрал ладони и еще раз осмотрелся. В комнате ничего не изменилось. Кресло пустовало, стол стоял один, на книжных полках, как всегда, были книги, но их разноцветные корешки смотрели грустно и слепо. Мальчишка задумался.

— Я больше не буду плакать, — сказал он себе. — Придет мама, я буду молодец.

Он пошел к кровати и одеялом вытер себе заплаканное лицо. Затем неторопливо, словно прогуливаясь, он обошел все, что было у них в квартире. И тут ему в голову пришла блестящая мысль.

— Мама, — негромко сказал он, — я хочу на горшок.

Он не хотел на горшок, но это было то, что заставило бы мать, будь она дома, тотчас броситься к нему.

— Ма-ма, — повторил он.

Ее не было дома, теперь он понял это окончательно. Надо было что-то делать. «Я сейчас поиграю, и мама придет», — решил он. Он пошел в угол, где были все его игрушки, и взял зайца. Заяц был его любимцем. У него отклеилась одна нога, отец несколько раз предлагал мальчишке приклеить эту ногу, но тот никак не соглашался. С двумя ногами зайца любить было бы не за что, так он и оставался с одной, а вторая валялась где-то здесь же и теперь существовала сама по себе.

— Давай играть, зайка, — предложил мальчишка.

Заяц молча согласился.

— Ты больной, у тебя ножка болит, я тебя сейчас буду лечить.

Мальчишка положил зайца на кровать, достал гвоздь и ткнул им зайца в живот, делая укол.

Заяц к уколам привык и никак на них не реагировал.

Мальчишка задумался, потом, словно что-то вспомнив, отошел от кровати и заглянул в большую комнату. Там ничего не изменилось, и тишина по-прежнему все так же медленно раскачивалась из угла в угол. Комната была как надутый шар с несколькими горошинами внутри: это стол, кресло, книжные полки.

Мальчишка, вздохнув, вернулся к кровати и посмотрел на зайца. Тот спокойно лежал на подушке.

— Нет, не так, — сказал мальчишка. — Теперь я буду зайкой, а ты маленьким мальчиком. Ты будешь меня лечить.

Он посадил зайца на стул, а сам лег в кровать, поджал под себя одну ногу и заплакал. Заяц, сидя на стуле, удивленно смотрел на него своими большими глазами.

— Я зайка, у меня ножка болит, — объяснил ему мальчишка.

Заяц промолчал.

Мальчишка поднял голову и сел. Сидя, он долго смотрел на зайца и о чем-то думал.

— Зайка, — спросил потом он, — куда ушла мама?

Заяц не ответил.

— Ты не спал, ты знаешь, говори, куда ушла мама? — потребовал мальчишка и взял зайца в руки.

Заяц молчал.

Мальчишка забыл, что раньше он всегда сам отвечал за зайца, выступая сразу в двух ролях, и теперь всерьез требовал от него ответа. Он забыл, что заяц был только игрушкой среди игрушек — среди кубиков, которые становились друг на друга, только когда их ставили, среди машин, которые шли, только когда их вели, среди зверей, которые рычали и разговаривали, только когда за них кто-нибудь рычал и отвечал. Он обо всем забыл, этот мальчишка.

— Говори, говори! — требовал он.

Заяц продолжал молчать. Мальчишка швырнул его на пол, спрыгнул с кровати и, бросившись на зайца, стал его пинать. Заяц катался по полу, подскакивал, крутился, и мальчишка тоже подскакивал и крутился вокруг него и все повторял: — «Говори, говори, говори!», — но заяц не мог от него никуда убежать, потому что он был с одной ногой. И мальчишка вдруг понял это. Он остановился. Он стоял и смотрел, как заяц, уткнувшись лицом в пол, беззвучно плачет. И он услышал этот плач. Он наклонился над зайцем, развел руками и виновато сказал:

— Мама куда-то ушла.

И вдруг мальчишке показалось, что по лестнице кто-то поднимается.

— Мама! — закричал он, бросаясь к двери, но запнулся о кресло и упал. Он поднялся, прислушиваясь, но за дверью никого не было. И тогда мальчишка снова заплакал. Он плакал от боли и одиночества. Что такое боль, он уже знал. С одиночеством он встретился впервые.

<1965>

Мужчины¹

По дороге Димка сказал:
— Первый класс закончим, а там видно будет.

Нам с Димкой не дружить было никак нельзя. Мы родились в один месяц, жили рядом, и у нас на двоих был один велосипед. Его сообща купили наши, чтобы мы были друзьями. Димкина мать говорила еще, что спустя несколько лет они собирались купить нам ружье, тоже одно на двоих, но у них ничего не вышло, потому что Димкиного отца посадили в тюрьму.

Школа у нас была немаленькая, но мы тогда во всей школе не учились, а учились только в одном, самом большом классе. В первом ряду сидели мы, первоклассники, во втором второклассники, весь третий и полчетвертого ряда занимал третий класс, а на последних трех партах сидели четвероклассники. Мы учились с утра, а потом наша учительница обедала и бежала за три километра в Петровку, потому что у петровских своей учительницы не было.

На самый первый урок к нам пришел председатель сельсовета дядя Костя. У него была только одна нога, вторую ему отстрелили на фронте. Он подал учительнице костыли, чтобы она их подержала, сел за стол и сказал:

— Те, которые дети фронтовиков, встаньте.

¹ В ранних редакциях (Красноярский комсомолец. 1966. 15 мая; Человек с этого света. Иркутск, 1967) рассказ носил название «Мы с Димкой».

Я поднялся, Димка остался сидеть. Нас стояло много, война тогда шла вовсю. Дядя Костя оглядел нас и наказал:

— Дети фронтовиков должны учиться хорошо!

— Константин Петрович, — вмешалась наша учительница, — все ребята должны хорошо учиться.

Дядя Костя подумал и поправился:

— Все ребята должны хорошо учиться, но дети фронтовиков должны учиться лучше всех. Понятно?

— Понятно, — закричали мы, и дядя Костя взял у учительницы костыли и ушел.

За один урок в нашей школе можно было научиться чему хочешь. Когда мы, например, хором учили буквы из азбуки, во втором классе в это время шла арифметика, в третьем — родная речь, а в четвертом история или география. В войну ребята хулиганили мало, если они, конечно, были настоящие хулиганы, и все равно одной учительнице с нами со всеми управиться было тяжело. Даст она, например, нам задание, а сама уйдет к третьему классу и читает им родную речь, а мы тоже слушаем, если интересно. Зато, когда мы вслух учили буквы, с нами вместе их повторяли и в третьем, и в четвертом классе. Они сидят, пишут, а сами повторяют. Разве поймешь, кто это — они или мы — ведь букву говорят громко, вслух.

Когда мы уже научились немножко читать, к нам опять пришел дядя Костя.

— Те, которые дети погибших воинов, встаньте! — приказал он.

Захлопали крышки у парт, и поднялось восемь человек. Девятый, Колька Афанасьев из третьего класса, сначала тоже вскочил, но растерялся и сел, ожидая, скажут ему подниматься или не скажут. Я бы на месте Кольки тоже не знал, вставать или не вставать, потому что у него отец потерялся без вести. Вот уже год после того прошел, а он все не находился.

Дядя Костя поднялся за столом и по очереди оглядел всех, кто стоял.

— Гады! — закричал вдруг он. — Изверги! Таких людей извели, таких ребяташек сиротками сделали! У-у-у, гады!

Мы испугались и молчали. Было видно, как дядю Костю трясет, поэтому он больше ничего не мог сказать. Но потом он пришел в себя и сказал учительнице, которая тоже испугалась и стояла у печки:

— Надо их как-то выделить, чтобы видно было, что отцы погибли героями.

Учительница пожалала плечами, она, видно, не знала, как их можно выделить.

— Флажки им на парты поставить, — подсказал дядя Костя. — Красные, наши, советские. Чтоб у других слезы к глазам подступали, а сами они, — дядя Костя показал рукой на тех, кто стоял, — помнили и учились на круглые пятерки.

После уроков мы с Димкой стали помогать ребятам и учительнице делать флажки. Мы вырезали их из старого лозунга, который повесили на воротах нашей школы еще до войны и на котором было написано «Да здравствует 1 Мая...» и дальше еще что-то. Материал на лозунге весь повыщвел, и от красного на нем ничего не осталось, но другого у нас не было. У нас тогда много чего не было, даже тетрадок, и писали мы на газетах, а чернила разводили из сажи.

Мы сделали восемь флажков и истратили только пол-лозунга, а пол-лозунга спрятали в шкаф — это для тех, у кого отцы еще не погибли, но со временем погибнут. Флажки мы поставили на парты, просто воткнули их в щели, и наш класс сразу стал совсем другой, какой-то печальный, потому что флажки не развевались, а только висели. Если рядом быстро пройти или пробежать бегом, то флажок откидывался, а потом снова падал, и ничего с ним нельзя было поделывать.

— Димка, — спросил я, когда мы шли домой, — а как же Колька Афанасьев?

— Колька Афанасьев — другое дело, — ответил Димка.

— Почему?

— Ты же знаешь, у него отец потерялся без вести.

— Ну и что?

— А может, он с фронта сбежал?

Я стал думать, потом сказал Димке:

— Нет, Димка, это неправда. Если бы Колькин отец сбежал с фронта, он бы прибежал сюда, уж целый год прошел. А раз его нету, значит, он тоже погиб, только погиб так, что никто не видел. Наверно, он погиб не смертью храбрых, а простой смертью.

— Кто его знает, — заколебался Димка.

— Давай, Димка, вернемся и сделаем Кольке флажок. Потому что так нечестно. У всех есть, а у него нет. И отца тоже нету. Думаешь, ему не обидно? Еще как обидно.

— Мне-то что, — пробормотал Димка. — Давай вернемся и сделаем.

Мы повернули обратно. В школе уже никого не было: учительница ушла в Петровку, ребята убежали по домам. Мы с Димкой достали лозунг и сделали еще один, девятый флажок, а потом поставили его на Колькину парту. Я стал прятать лозунг обратно в шкаф.

— Подожди, — сказал Димка, — посмотрим, сколько осталось.

Мы разостлали лозунг на полу, и Димка стал считать — на сколько флажков еще хватит.

— Вот весь изрежем, тогда и война кончится, — сказал он.

— Откуда ты знаешь? — удивился я.

— А я не знаю, — ответил Димка, — я просто так сказал.

Утром мы прибежали в школу пораньше, чтобы посмотреть, что будет делать Колька, когда увидит флажок. А Кольки, как нарочно, долго не было, он пришел уже перед самым уроком и сначала ничего не заметил и только уж потом завертел головой и заволновался — видно, он решил, что сел не за свою парту, но осмотрелся — нет, парта его, а что он думал про флажок, — мы не знали.

Учительница тоже увидела, что на Колькиной парте стоит еще один флажок.

— Афанасьев, — сказала она, зачем ты это сделал?
Колька вскочил.

— Это не я. Я пришел, он тут...

— Кто это сделал? — спросила учительница у всех.

Мы с Димкой поднялись и сказали:

— Это мы.

— Почему вы считаете, что у Афанасьева на парте должен стоять флажок?

Мы с Димкой молчали.

— Ну, отвечайте!

Димка кивнул на меня.

— Ну?

— Если бы Колькин отец сбежал с фронта, то он бы прибежал сюда, больше ему бежать некуда. Ведь он не прибежал, правда, Колька? Колька опять вскочил:

— Нет, его не было. Честное пионерское.

— Хватит, — оборвала нас учительница. — Садитесь.

Не говоря ни слова, она по очереди открыла все окна в классе. Начиналась весна. Мы стали смотреть, как флажки шевелятся, будто оживают и начинают дышать. Так и хотелось помочь им: разделить бы всем поровну и дуть на них из всей силы — тогда бы они забились.

Учительница встала и закрыла окно.

— Начнем урок, — сказала она.

Димка толкнул меня в бок и показал на дверь. Там стоял мой младший братишка Женька, которому исполнилось всего четыре года. Он увидел меня и потопал ко мне через весь класс. Ребята засмеялись.

— Здравствуйте! — удивленно сказала учительница, но Женька не ответил, он даже не повернулся к ней и продолжал топтать ко мне.

— А ну, марш домой! — попросил я.

— Володя, — захныкал Женька, — у нас папку сегодня на войне убили.

— Чего ты выдумываешь?!

— Я не выдумываю, — обиделся Женька. — Мамка письмо получила и теперь плачет.

Я кинулся из класса, Димка за мной. Женька бежал сзади.

Дома я распахнул дверь — у нас было много народу. Где-то там, за народом, голосила мама. Я повернул обратно, в дверях столкнулся с Димкой, проскочил мимо него и бросился на верхний край деревни, туда, за деревню. Димка опять побежал за мной. Где-то позади кричал Женька, он далеко отстал, но все бежал и кричал.

Я остановился возле землянки, которую мы с Димкой вырыли, когда еще не ходили в школу. Здесь было тихо, но где-то недалеко опять закричал Женька. Я не стал ему отвечать. Я сел у входа в землянку — можно было забраться и внутрь, но там было грязно. Подбежал запыхавшийся Димка и сел в сторонке.

— Володя! — кричал Женька. — Володя, где ты?

Мы с Димкой молчали. Женька заплакал и пошел обратно в деревню.

— Плакать будешь? — спросил меня Димка.

Я не ответил.

— Когда отца убивают, — можно.

— Толку-то, — откликнулся я.

— Толку нету. Говорят, легче бывает.

Было слышно, как в деревне беспокойно лают собаки, где-то за рекой ухнул выстрел.

— Вот у меня отец хоть и живой, а считай, без отца, — сказал Димка. — Еще хуже. Один стыд только.

— Ты его разве помнишь?

— Жить неохота, — сказал Димка.

— Может, он хороший человек был?

— Ну и что? А если он против русских шел?

Я не ответил. На другой день мы вырезали из нашего лозунга флажок, который мне полагался за отца. Мы воткнули его в парту, а потом сели за нее и стали рядом сидеть. Тут я опять понял, что отца у меня больше нет и уже никогда не будет. Мне захотелось плакать, но я сдержался и не заплакал,

только, пока я сдерживался, из глаз у меня выпала одна капля и стукнулась о парту. Я быстро стер ее рукавом, чтобы Димка не заметил, но он все равно успел заметить.

— Ты меня не бойся, — сказал он. — Давай, если что. Он положил свои руки на парту, а на руки положил голову, будто устроился спать. Я сделал то же самое. Было так тихо, что показалось, война кончилась и такая тишина стоит везде. Но мы-то знали, что она не кончилась.

Мы еще лежали так, а потом пошли домой. Мы шли тихонько, потому что мне было страшно идти домой.

— Хочешь, я с тобой пойду? — предложил Димка.

— Хочу.

У нас дома стояла тишина. Мама, обняв Женьку, спала на своей кровати, а тетя Варя, Димкина мать, сидела с ней рядом.

Она увидела нас и замахала руками:

— Идите к нам, к нам идите. Поешьте там чего и никуда не убегайте, я скоро буду.

Я остался у Димки на ночь, и мы с ним спали вместе, а утром опять пошли в школу.

Потом война ушла из СССР и шла в других странах, но наших людей все равно там убивали. Весной мы сделали еще два флажка, и от лозунга осталось флажка на три, не больше. На войну его могло не хватить, а другого лозунга у нас не было.

— Может, обойдется, — сказал я.

— Должно обойтись, — кивнул Димка.

— Уж теперь война скоро кончится, немножко осталось.

Когда до конца первого класса остался месяц или полтора, к нашей учительнице после ранения приехал капитан. Кем он ей был, мы не знали, наверно, женихом, потому что везде ходил за ней и даже один раз пришел к нам на урок. Пока учительница занималась с четвертым классом, он рассказывал нам про войну. Конечно, учительницу никто не слушал, все слушали его. У нас в деревне своих капитанов не было, а все больше были солдаты, и живого капитана мы видели в первый раз.

Он рассказывал, рассказывал, а потом почему-то спросил у меня:

— У тебя отец по званию кто был?

— Сержант, — ответил я, вскочив. Я сказал не «сержант», а «селжант», потому что «р» у меня не получалась.

— Ты не умеешь выговаривать букву «ры»? — засмеялся капитан. — Милый, тебя на фронт ни за какие пряники не возьмут.

Я замер. На фронт я не собирался, но одно дело, когда не собираешься, и другое — если тебя туда и не возьмут.

— Нет-нет, не возьмут, — продолжал капитан. — Ты сам рассуди: что решает успех боя и в конечном счете успех войны? Наступление — правильно?

Я кивнул.

— А что решает успех наступления, успех атаки? Много, но прежде всего в самом начале атаки наш боевой клич, по которому русского человека знают и боятся во всем мире. Допустим, мне надо поднять своих солдат в атаку. Я поднимаюсь, устремляюсь вперед на врага и кричу... Что я кричу?

— Ура! — догадался я, но у меня получилось не «ура», а «уа».

— Ура!

— Петя, Петя! — учительница попыталась остановить капитана, но он не стал ее даже и слушать.

— Ура! — еще раз закричал он и, вдруг смолкнув, обвел нас бешеным взглядом. — И что мне на это отвечают мои молодцы, ваши отцы и старшие братья?

— Ура! — закричали ребята, прыгая через парты и набрасываясь друг на друга.

Мы с Димкой молчали. Капитан подошел к нам и, запыхавшись, сказал мне:

— Тренироваться надо. Будешь тренироваться — получится.

— Петя, перестань! — крикнула учительница.

— Все-все, я устал, я ухожу. — Капитан направился к двери. — Атака закончена, враг разбит. Молодцы, ребята!

— Ура! — еще раз прокричало несколько голосов.

Когда урок кончился, мы с Димкой пошли в нашу землянку.

— Ты не обращай внимания, — сказал Димка.

— Я и так не обращаю. Дурак он.

— Ясно, дурак, — согласился Димка.

— Слушай, Димка, а пойдем сейчас к нему и скажем: «Ты не капитан, а дурак».

Димка промолчал.

— Пойдем, Димка! Ничего он нам не сделает.

— Не надо, — сказал Димка. — Он еще обидится и не пойдет больше на фронт. Пусть идет — может, фашиста убьет. А война кончится, ему и без нас скажут, что он дурак.

— А если не скажут?

— Ну, что ты! Еще как скажут! Вот увидишь, после войны дуракам никакого житья не будет.

— А что с ними можно сделать? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Димка. — Наверно, учиться заставят. После войны знаешь, как все будет?

— Как?

— Ну, как? — Димка замялся. — Войны не будет, — сказал потом он. — Вот так.

Через несколько дней первый класс у нас с Димкой закончился, а война все еще шла. Это был май 1944 года.

<1966>

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

АНАСТАСИИ ПРОКОПЬЕВНЕ КОПЫЛОВОЙ

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что стало с нами после.

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так в одиннадцать лет началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки... проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сторяча нагреб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растет. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать наперекор всем несчастьям собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — за тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, остаться у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания,

но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, — я ничего не понимал. Тогда она решила и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошел. — Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полutorке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, пример-

но раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут — кажется, много,хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почему продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвырвав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?
— В какую «чику»? — не понял я.
— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди не вякни кому, что мы здесь.

— Вот еще! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метра в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, — тогда ты получал право первым разбивать

кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накастиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в пись-

мо по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек; не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять пол-литровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же оставалась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился в наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверное, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, светливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — все равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

— Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добываясь права на первый удар; когда много играющих, это непросто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на

пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш тройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлечься игрой и торчать на поляне до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убежал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его кармана вряд ли мне что-нибудь перепало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учиться, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и, если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная,

летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

— Не в склад! — объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он не стал бы ее закрывать.

— Ты перевернул ее, — сказал я. — Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно: если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет, — решил я. — Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он. — При-
снилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но
я не отдал ее.

Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я
больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я
им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я
видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка, повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул ее, — уже тише сказал я, хорошо
зная, что за этим следует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на
Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня
головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь.
Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно
было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал
об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защи-
щаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь,
и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал
одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и вто-
рой. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по
ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я
старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже
в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов
они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. —
Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим но-
сом, поплелся в гору.

— Только вякни кому — убьем! — пообещал мне вслед
Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь поселок:

— Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и, если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутивные, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин! Вот Тишкин так Тишкин! Обрадовал. Внес ясность — нечего сказать.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. — Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил — разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линей-

кой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно, чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» — «Что меня побудило?» — «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».

Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

— Вы... выигрываю.

— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, а потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь,

не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И все-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко

припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все усталились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навывпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришел? Давно не били?

— Играть пришел, — как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?

— Никто.

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — шурясь на меня, сказал Вадик. — Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет, — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придаться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

— Хватит, ой хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься от-дельно. Другого выхода нет.

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произноше-ния, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «beau-соур» (много), которым можно подавиться? Зачем с ка-ким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я по-крывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайлов-на без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ни-чуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вече-рам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со шко-лой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в пер-вое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, стран-ное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где

нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дожидаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко стриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому